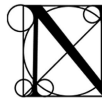


ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

ГРЕХ



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
АСТ
МОСКВА**

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)
П76

Художественное оформление — *Елена Лазарева*

Прилепин, Захар.

П76 Грех : рассказы / Захар Прилепин. — Москва : Издательство АСТ : Neoclassic, 2026. — 280, [8] с. — (Захар Прилепин: лучшее).

ISBN 978-5-17-186166-7

Захар Прилепин — прозаик, публицист, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санька», «Чёрная обезьяна», «Патологии», «Некоторые не попадут в ад», «Тума», сборников рассказов «Семь жизней», «Восьмёрка» и «Ополченский романс».

Маленький провинциальный городок и тихая деревня, затерянные в смутных девяностых. Незаметное превращение мальчика в мужчину: от босоногого детства с открытиями и трагедиями, что на всю жизнь, — к нежной и хрупкой юности с первой безответной любовью, к пьяному и дурному угару молодости, к удивлённому отцовству — с ответственностью уже за своих детей и свою женщину.

«Грех» — это рефлексия и любовь, веселье и мужество, пацанство, растворённое в крови, и счастье, тугое, как парус, звенящее лето и жадная радость жизни.

Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя по имени Захарка.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-17-186166-7

© Захар Прилепин
© ООО «Издательство АСТ»

КАКОЙ СЛУЧИТСЯ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Сердце — отсутствовало.
Счастье — невесомо, и носители его — невесомы.
А сердце — тяжёлое. У меня не было сердца. И у неё не было сердца; мы оба были бессердечны.

Всё вокруг стало замечательным; и это «всё» иногда словно раскачивалось, а иногда замирало, чтобы им насладились. Мы — наслаждались. Ничего не могло коснуться настолько, чтобы вызвать какую-либо иную реакцию, кроме хорошего и лёгкого смеха.

Иногда она уходила, а я ждал. Не в силах дожидаться её, сидя дома, я сокращал время до нашей встречи и расстояние между нами, выходя во двор.

Во дворе бегали щенки, четыре щенка. Мы дали им имена: Бровкин — крепкому бродяге весёлого нрава; Японка — узкоглазой, хитрой, с рыжиной псинке; Беляк — белёсому недоростку,

всё время пытавшемуся помериться силой с Бровкиным и неизменно терпящему поражение; и, наконец, Гренлан — её имя выпало неведомо откуда и, как нам показалось, очень подошло этой принцессе с навек жалостливыми глазами, писавшейся от страха или обожания, едва её окликали.

Я сидел на траве в окружении щенков. Бровкин валялся на боку неподалёку, и каждый раз, когда я его подзывал, дурашливо вскидывал голову. «Привет, ага, — говорил он. — Здорово, да?» Японка и Беяк мельтешили, ковыряясь носами в траве. Гренлан лежала рядом. Когда я хотел её погладить, она каждый раз заваливалась на спину и попискивала: весь вид её говорил, что, хоть она и доверяет мне почти бесконечно, открывая свой розовый живот, но всё равно ей так жутко, так жутко, что сил нет всё это вынести. Я всерьёз опасался, что у неё разорвётся сердце от страха. «Ну-ну, ты чего, милаха! — говорил я успокаивающе, с интересом рассматривая её живот и всё на нём размещённое. — Смотри-ка ты, тоже девочка!»

Неизвестно, как щенки попали в наш двор. Однажды утром, неразумно счастливый даже во сне, спокойно держащий в ладонях тяжёлые, спелые украшения моей любимой, спящей ко мне спиной, я услышал забубённый щенячий лай — словно псы материализовали всё неизъяснимое, бродившее во мне, и внятно озвучили моё настроение своими голосами. Впрочем, разбуженный щенячьим гамом, я сначала разозлился: разбудили меня, а ведь могли ещё и Марысю мою разбудить; но вскоре понял, что щенки лают не просто так, а клячат еду у прохожих — голоса прохожих я тоже слышал. Как правило, те отругивались: «Да нет ничего, нет, отстаньте! Кыш! Да отстаньте же!».

Я натянул джинсы, валявшиеся где-то на кухне — вечно нас настигало и кружило где ни попадя, по всей квартире, до полного бессилия, и лишь утром, несколько легкомысленно улыбаясь, мы вычисляли свои буйные маршруты по сдвинутым или взъерошенным предметам мебели и прочему вдохновенному беспорядку, — ну вот, натянул джинсы и выбежал на улицу в шлёпанцах, которые неведомым образом ассоциировались у меня с моим счастьем, моей любовью и моей замечательной жизнью.

Щенки, не допросившиеся подачки от очередного прохожего, без устали рыскали в траве, ковыряя мелкий сор, отнимая друг у друга щепки, какую-то сохлую кость, который раз переворачивая консервную банку, — и всё это, естественно, не могло их насытить. Я свистнул, они бросились ко мне — о, если бы так всю жизнь бежало ко мне моё счастье, с такой остервенелой готовностью. И закружили рядом, неистово ласкаясь, но и обнюхивая мои руки: пожрать-то вынеси, дядя, говорили они всем своим жизнерадостным видом.

— Сейчас, ребятки! — сказал я и вприпрыжку помчал домой.

Я кинулся к холодильнику, открыл его, молитвенно встав перед ним на колени. Рукой я теребил и поглаживал Марысины белые трусики, которые подхватил с пола в прихожей; конечно же, несколько не удивившись, отчего они там лежат. Трусики были мягкими; холодильник — пустым. Мы с Марысей не были прожорливы, нет — просто мы никогда не готовили толком ничего, у нас было множество других забот. Мы не желали быть основательными, как борщ, мы жарили крепкие слитки мяса — и тут же съедали, или, мажась и целуясь, взбивали гоголь-моголь и, опять

же сразу, съедали и его. Ничего не было в холодильнике, только яйцо, как заснувший зритель в кинотеатре, посреди пустых кресел с обеих сторон: сверху и снизу. Я открыл морозилку и радостно обнаружил там пакет молока. Отодрал с треском этот пакет с его древней лежанки, бросился на кухню и ещё раз обрадовался, найдя муку. Банка с подсолнечным маслом спокойно стояла на окне. «Будут вам блинчики!» Через двадцать минут я наделал десяток разномастных уродов, местами сырых, местами пережаренных, но вполне съедобных — я сам попробовал и остался доволен. Прыгая через две ступени, ощущая рукой жар блинцов, которые накидал в целлофановый пакет, я вылетел на улицу. Пока спускался по лестнице, успел испугаться, что щенки убежали, но сразу же успокоился, услышав их голоса.

— Ах, какие вы прекрасные ребята! — воскликнул я. — Ну-ка, попробуем блинцы!

Я извлёк из пакета первый блинчик, который, как и все последующие, был комом. Все четыре разом, лязгнули юные горячие пасти. Бровкин — тот, кто позже получил это имя, — первым, боднув остальных, выхватил горячий кус; тут же, обжёгшись, выронил его, но не оставил, а в несколько заходов оттащил на полметра в травку, где торопливо обкусал по краям, после, крутя головой, заглотал — и вприпрыжку вернулся ко мне.

Помахивая блинцами в воздухе — остужая их, — я старательно наделял каждого щенка отдельным куском, но мощный Бровкин умудрялся и своё заглатывать, и у родственничков отбирать. Впрочем, делал он это как-то необходимо, никого не унижая, а словно придураясь и шая. Той, что после получила имя Грен-

лан, доставалось блинчиков меньше всех, и я, уже через пару минут научившись отличать щенков — поначалу, казалось, неразличимых, — начал отгонять от Гренлан настырных бровастых братиков и ловкую рыжую сестру, чтобы никто у трогательной и даже в своей семье стеснительной животинки её сладкий кусок не урывал.

Так и подружились.

Каждый раз я безбожно врал себе, что за минуту до того, как пришла, вывернула из-за угла моя любимая, я уже чувствовал её приближение — что-то сдвинулось в загустевшем и налившимся синевой воздухе, где-то тормознуло авто... Я уже вовсю улыбался, как дурной, ещё когда Марыся была далеко, метров за тридцать, и не уставал улыбаться, и щенкам приказывал: «Ну-ка, мою любимую встречать, быстро! Зря ли я вас блинами кормлю, дармоеды!».

Щенки вскакивали и, вихляя во все стороны пухлыми боками, спотыкаясь от счастья, бежали к моей любимой, грозя зацарапать её прекрасные лодыжки. Марысенька переступала ножками и потешно отмахивалась от щенят своей чёрной сумочкой. Во мне всё дрожало и крутило щенячьими хвостами. Продолжая отбиваться сумочкой, Марысенька добредала до меня, с безупречным изяществом приседала рядом, подставляла гладкую, как галька, прохладную, ароматную щёку для поцелуя, а при самом поцелуе на десятую долю миллиметра отодвигалась, точнее, вздрагивала, — конечно же, я был небрит. За весь день не нашёл времени — был

занят: ждал её. Марыся брала одного из щенков, разглядывала его, смеясь. Розовел щенячий живот, торчали три волоска, иногда с обвисшей мизерной белёсой капелькой.

— У них пасти пахнут травкой, — говорила Марыся, и добавляла шёпотом: — Зелёной.

Мы оставляли щенков забавляться, а сами шли в магазин, где покупали себе дешёвые лакомства, раздражая продавцов обилием мелочи, которую Марыся извлекала из сумочки, а я из джинсов. Часто раздражённые продавцы даже не считали мелочь, а брезгливо сгребали её в ладонь и высыпали в угловую полость кассового аппарата, к другим — не медякам, а «белякам» — монетам достоинством в копейку и пять копеек, совершенно потерявшим покупательную способность в нашем бодро нищавшем государстве. Мы смеялись; нас не могло унижить ничьё раздражение.

— Обрати внимание, сегодня день не похож на вторник, — замечала Марыся, выйдя на улицу. — Сегодня как будто пятница. По вторникам гораздо меньше детей на улицах, девушки одеты не настолько ярко, студенты более деловиты, а машины не так неторопливы. Определённо, сегодня сместилось время. Вторник стал пятницей. Что же будет завтра?

Я потешался над её нарочито книжным языком — это было одной из наших забав: разговаривать так. Потом наша речь становилась привычно человеческой — неправильные конструкции, междометия, полунамёки и смех. Всё это невоспроизводимо — потому что каждая фраза имела предысторию, каждая шутка была настолько очаровательно и первоначально глупа, что ещё одно повторение этой шутки убивало её напрочь, будто она родилась сла-

бым цветком, сразу же увядающим. Мы разговаривали нормальным языком любящих и счастливых. В книжках так не пишут. Можно только отдельные фразы выхватить. Например, такую:

— А я у Валиеса была, — сказала Марыся. — Он предложил мне выйти замуж.

— За него?

Глупый вопрос. За кого же.

Актёр Константин Львович Валиес был старый грузный человек с тяжёлым сердцем. Наверное, оно уже не билось у него, но — опадало.

И тоскливые еврейские глаза под тяжёлыми, как гусеницы, веками совершенно растратили своё природное лукавство. Со мной, как с юношей, он ещё держался — едко, как ему казалось, иронизировал и снисходительно хмурился. С ней же он не мог утаить свою беззащитность, и эта беззащитность смотрелась как белый голый живот из-под плохо заправленной рубашки.

Однажды я как человек, зарабатывающий на жизнь любым способом, находящимся в рамках закона, в том числе и написанием малоумной чепухи, обычно служащей наполнением газет, напросился к Валиесу на интервью.

Он пригласил меня домой.

Я пришёл чуть раньше и блаженно покурил на лавочке у дома. Встав с лавочки, пошёл к подъезду. Мельком взглянул на часы и, увидев, что у меня есть ещё пять минут, вернулся к качелям, мимо которых только что прошёл, коснувшись их рукой, пальцами,

унеся на них холод и шероховатость ржавчины железных поручней. Я сел на качели и несильно толкнулся ногами. Качели издали лёгкий скрип. Он показался мне знакомым, что-то напоминающим. Я качнулся ещё раз и услышал вполне определённо: «В-ва... ли... ес...» Качнулся ещё раз. «Вали-ес» — скрипели качели. «Ва-ли-ес». Я улыбнулся и чуть неловко спрыгнул — в спину качели выкрикнули что-то с железным сипом, но я не разобрал, что. В тон качелям хмыкнула входная дверь подъезда.

Я забыл сказать, что Валиес был старейшим актёром Театра комедии нашего города: иначе зачем бы мне к нему идти. Никто не стал допытываться у меня через дверь, кто я такой, — в самых добрых советских традициях дверь раскрылась нараспашку, Константин Львович улыбался.

— Вы журналист? Проходите...

Он был невысок, грузноват, шея в обильных морщинах выдавала возраст, но безупречный актёрский голос по-прежнему звучал богато и важно.

Валиес курил, быстрым движением стряхивал пепел, жестиком кулировал, поднимал брови и задерживал их чуть дольше, чем может задержать вскинутые брови обычный человек, не артист. Но Константину Львовичу всё это шло — вскинутые брови, взгляды, паузы. Беседуя, он всё это умело и красиво расставлял. Как шахматы, в определённом порядке. И даже кашель его был артистичен.

«Извините», — непременно говорил он, откашлявшись, и там, где заканчивалось звучание последнего звука в слове «извините», сразу же начиналось продолжение прерванной фразы.

«Так вот... Захар, да? Так вот, Захар...» — говорил он, бережно произнося моё достаточно редкое имя, словно пробуя его языком, подобно ягоде или орешку.

— Валиес учился в театральном училище вместе с Евгением Евстигнеевым, они дружили! — пересказывал я в тот же вечер Марысенке то, что поведал мне сам Константин Львович.

Евстигнеев в тёмной камерке с портретом Чарли Чаплина у продавленной кровати — молодой и уже лысый Евстигнеев, живущий вдвоём со своей мамочкой, тихо суетящейся за фанерной стенкой, и Валиес у него в гостях, кудрявый, с яркими еврейскими глазами...

Я всё это ярко себе вообразил — и в сочных красках, словно видел сам, расписывал своей любимой. Мне хотелось её удивить, нравилось её удивлять. Она с удовольствием удивлялась.

— Валиес и Евстигнеев ходили в звёздах на своём курсе — такая весёлая пара, два клоуна, кудрявый и лысый, еврей и русский, почти как Ильф и Петров. Вот ведь как бывает... — говорил я Марысе, заглядывая в её смеющиеся глаза.

— А потом? — спрашивала Марыся.

После окончания училища Женю Евстигнеева не взяли в наш Театр комедии — сказали, что не нужен. А Валиеса взяли сразу. К тому же его начали снимать в кино, одновременно с Евстигнеевым, перебравшимся в Москву. За несколько лет Валиес трижды сыграл поэта Александра Пушкина и трижды революционера Якова Свердлова. Картины прошли по всей стране... Ещё Валиес сыграл безобидного еврея в кино о войне в паре с известным тогда Шурой Демьяненко. А затем Иуду в фильме, где Владимир Вы-

соцкий играл Христа. Правда, этот фильм закрыли ещё до конца съёмок. Но вообще всё очень бодро начиналось в актёрской жизни Валиеса.

— ...ну а потом Валиеса перестали снимать, — рассказал я Марысе.

Он ждал, что его позовут, пригласят, — а его не звали. Так он и не стал звездой, хотя в нашем городе он, конечно же, был почитаем. Но спектакли прошли и забылись, и неяркие его фильмы тоже забылись, а Валиес — постарел.

В разговоре Валиес был зол, ругался. Хорошо, что так. А то было бы совсем грустно смотреть на старого человека с опадающим сердцем... Дым развеивался, он прикуривал новую — почему-то от спичек, зажигалки на столе не было.

Время его уходило, почти ушло — где-то, когда-то, в какой-то далёкий день он не сумел зацепиться, ухватиться за что-то цепкими юными пальцами, чтобы выползти на залитое тёплым, пивным солнышком пространство, где всем подарена слава прижизненная и обещана любовь посмертная — пусть не вечная, но такая, чтоб тебя не забыли хотя б во время поминальной пьянки.

Валиес давил очередную сигарету в пепельнице, взмахивал руками, мелькали жёлтые подушечки пальцев; он много курил. Задерживал дым и, медленно выдыхая, терялся в дыме, не щура глаза, а голову откидывая назад. Было ясно, что всё отшумело, и вот он блистает белками глаз в розовых жилках и большими губами перебирает, и тяжёлые веки подрагивают...

— Тебе жалко его, Марысенька?

Назавтра же я набрал интервью, перечитал и отнёс Валиесу. Передал из рук в руки и сразу же убежал. Валиес нежно проводил

меня. И перезвонил сам, едва я добрался до дома. Может быть, даже раньше начал звонить: его звонок одёрнул меня, едва вошедшего в квартиру. Голос актёра дрожал. Он был крайне возмущён.

— В таком виде интервью идти не может! — почти выкрикнул он.

Я несколько опешил.

— Ну и не пойдёт, — сказал я по возможности спокойно.

— До свиданья! — отрезал он и кинул трубку.

«Что я такого сделал?» — подумал я.

Каждое утро нас будил лай — щенята по-прежнему кланчили съестное у прохожих, спешащих на работу. Прохожие ругались: щенки мазали лапами их одежду.

Но однажды глубоким утром, переходящим в полдень, я не услышал щенков. Я почувствовал волнение ещё во сне: чего-то явно не хватало в томной сумятице звуков и отсветов, предшествующих пробуждению. Возникла пустота; она была подобна воронке, засасывающей мой сонный покой.

— Марысенька! Я щенков не слышу! — сказал я тихо и с таким ужасом, словно не нашёл пульс у себя на руке.

Марысенька и сама перепугалась.

— Беги скорей на улицу! — тоже шёпотом сказала она.

Спустя несколько секунд я уже прыгал по ступеням, думая в лихорадке: «Машина задавила? Как? Всех четверых? Быть не может...».

Я выбежал в солнце, и в запах растеплевшейся земли и травы, и в негромкие звуки авто за углом, — и сразу засвистел, зашумел,